

УДК 821.161.1 (Слово о Полку Игореве) ББК Ш33(2Рос=Рус)3

Стилистическая фигура как средство раскрытия идейного содержания («Слово о полку Игореве»)

Л. И. Зарембо

Минск, Украина

Аннотация. Рассмотрен фрагмент об Олеге Гориславиче из «Слова о полку Игореве»: идейно-семантическое содержание, структура, стилистика. В качестве опорной единицы членения текста выделена стилистическая фигура. Основные выводы и наблюдения подтверждены сопоставлением с поэтикой русских и белорусских переводов.

Ключевые слова: «Слово о полку Игореве», идейно-семантическое содержание, структура, стилистическая фигура, перевод, русскоязычные и белорусскоязычные переводы.

L. I. ZAREMBO. *Stylistic figure as a means of disclosure of the ideological content («The Word about Igor's Regiment»)*

Abstract. Considered fragment about Oleg Gorislavich from “The Word about Igor’s Regiment”: ideological and semantic content, structure, style. Stylistic figure selected as a reference unit division text. The main conclusions and observations are confirmed by comparison with the poetics of Russian and Belarusian translation.

Keywords: “The Word about Igor’s Regiment”, ideological and semantic content, structure, stylistic figure, translation, Russian and Belarusian-language translations.

Чтобы, согласно традиции, обозначить в начале статьи актуальность избранной темы, для данного случая достаточно процитировать современные базовые справочные издания. «Стилистический энциклопедический словарь русского языка» 2006 г. констатирует: «В современной филологии нет общепринятой точки зрения на природу, терминологическое обозначение и классификацию С.ф. (стилистических фигур. — Л. З.)» [Сковородников 2006: 452]. В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» 2001 г. читаем: «В 19–20 вв. изучение их (стилистических фигур) было заброшено, и они употреблялись стихийно» [Гаспаров 2001: 1140].

Последнее обстоятельство (в противоположность античности — классицизму) особенно негативно сказалось на толковании древнерусских текстов, основной блок которых был открыт, опубликован и изучался как раз в означенный энциклопедией двухвековой период. А среди них, разумеется, и «Слово о полку Игореве» — наиболее почитаемое и породившее целое направление в медиевистике XIX–XXI столетий. Исследователи поэтики этого шедевра, как правило, исходили из данностей текста, но при этом свои заключения не сопрягали в должной мере с теоретическими акцентами стилистических учений прошедших эпох. Так, на сегодняшний день существует целая серия замечательных работ о художественных приемах, «обслуживающих» идею «Слова», но лишь очень немногочисленные современные диссертационные исследования о теории стилистических фигур («фигуральных выражениях» — в России XVIII века). Обоим этим направлениям филологической науки еще предстоит реализовать свое взаимовлияние. А плодотворность и перспективность подобного шага мы попытаемся проиллюстрировать на конкретном примере, обладающем в памятнике достаточно высокой степенью моделируемости.

Остановимся на сюжетном фрагменте о деятельности князя, чье имя вынесено в заглавие произведения «Слово... внука Ольгова». Олег Святославич — дед центрального героя, сын основоположника черниговской ветви Рюриковичей, внук Ярослава Мудрого. Он — инициатор и участник событий почти вековой давности по отношению к Игореву походу: «Были вѣчи

Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Ольговы, Ольга Святъславличя. Тѣй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше, и стрѣлы по земли сѣяше. Ступаетъ въ златъ стременъ въ градѣ Тьмутороканѣ. Тоже звонъ слыша давный великий Ярославъ сынъ Всеволожь: а Владимиръ по вся утра уши закладаше въ Черниговѣ; Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведѣ, и на канину зелену паполому постла, за обиду Олгову храбра и млада Князя. Съ тояже Каялы Святоплъкъ повелѣя отца своего между Угорьскими иноходцы ко Святѣй Софїи къ Киеву. Тогда при Олзѣ Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами; погибашеть жизнь Даждь-Божа внука, въ Княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомъ скратишась. Тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть: нѣ часто врани граяхуть, трупїа себѣ дѣляче; а галици свою рѣчь говоряхуть, хотятъ полетѣти на уедіе. То было въ ты рати, и въ ты плъкы...» [Слово: 5–6].

«Разрывающая» описание второй битвы, эта новелла даже и на его эмоционально напряженном фоне выделяется особой концентрацией энергии чувств, переживаний, патриотических обобщений о пагубности усобиц, а также высокой стройностью архитектоники.

Например, в ней синтаксически «навязчиво» указание на объединяющую отдаленность во времени «тех» явлений: «Тѣй бо Олегъ..., тоже звонъ..., съ тояже Каялы..., тогда при Олзѣ..., тогда по Руской земли..., то было въ ты рати, и въ ты плъкы...». В конце ряда данный комплекс подчеркнут оппозицией «... а сиче и рати не слышано...».

Таким образом, весь этот период заключен будто в поле речений, хронологически обособляющих, выделяющих его как целостность из потока текущих событий. Начальная грань: «Были вѣци Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Олговы, Ольга Святъславличя». Конечная: «То было въ ты рати, и въ ты плъкы, а сиче и рати не слышано...». Мы не будем останавливаться здесь на комментировании конкретных имен и поступков [см. соотв. персоналии Энциклопедии 1995].

Далее, внутри его историко-политический обзор «тех» событий обрамляется как бы суммирующими фразами: «Тѣй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше, и стрѣлы по земли сѣяше», «Тогда при Олзѣ Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами... полетѣти на уедіе». В них общая тема осуждения усобиц, инициируемых Олегом, представлена поэтически совершенно единообразно — сопряжением в оксюморонах нравственно-оценочной лексики противоположных сфер: жизненно-созидательной, мирной деятельности ойкумены и антагонистичной воинской, жизненно-деструктивной, танатогенезной («ковать» — «крамола», «меч»; «сеять» — «стрела»; «сеять», «растить» — «усобицы»; «ратай» — «вран», «галица»).

Надлежит отметить, что замыкающий ряд здесь — более распространенный, он дополнен темой народно-национального бедствия: «Погибашеть жизнь Даждь-Божа внука, въ Княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомъ скратишась... Тогда по Руской земли рѣтко

ратаевѣ кикахуть, нѣ часто врани граяхуть; трупїа себѣ дѣляче, а галици свою рѣчь говоряхуть, хотятъ полетѣти на уедіе». В отношении всего рассматриваемого фрагмента этот мощный аккорд воспринимается как самостоятельная эстетическая целостность, обособленная сюжетно-пейзажная зарисовка объемно зримого, пространственно-перспективного воспроизведения жизни на Руси. По силе, характеру своего воздействия не сегодняшнего читателя она вполне соотносима с верлибрами нового времени. Соответственно разделим композиционный блок на «строки»:

Тогда
 при Олзѣ Гориславличи
 сѣяшется и растяшеть
 усобицами;
 погибашеть жизнь
 Даждь-Божа внука,
 въ Княжихъ
 крамолахъ
 вѣци
 человѣкомъ
 скратишась.
 Тогда
 по Руской
 земли
 рѣтко
 ратаевѣ
 кикахуть:
 нѣ часто
 врани
 граяхуть,
 трупїа
 себѣ дѣляче;
 а галици
 свою
 рѣчь говоряхуть,
 хотятъ полетѣти
 на уедіе.

«Стихотворение» организовано так, что в нем отчетливо превалирует мотив снижения позитива в первой части (от «Тогда при Олзѣ...» до «...человѣкомъ скратишась») и градации отрицательной семантики — во второй (от «Тогда по Руской...» до «полетѣти на уедіе»). Проследим это в показательной для данного случая области называния субъектов и производимых действий:

- | | | |
|-----|------------------------|-----------------|
| (1) | жизнь Даждь-Божа внука | погибашеть |
| (2) | вѣци человѣкомъ | скратишась |
| (3) | ратаевѣ | кикахуть |
| (4) | врани | граяхуть |
| (5) | галици | рѣчь говоряхуть |

Антропонимы представлены: от поэтически возвышенного солнечнородного названия славян (1) к 'человек как член общества', представитель 'народа, населения', 'человек как живое существо, обладающее

мышлением и речью» [Словарь 1984: 147] (2), затем к «пахарь, земледелец, сеятель» [Словарь 1978: 24], т. е. субъект более низкого социального статуса (3). Следующим звеном в этой системе нисходящих ценностей становится анимальный мир. Называние хищного ворона (психо-эмоциональное поле негатива — черноты, смерти) и более мелкой птицы — галки, также черной, поедающей остатки разложившихся существ.

При этом в параллельном правом столбце «действий» наблюдаем обратную динамику: от «погибашеть жизнь» (1) к «скратишася» — «уменьшиться, стать короче», «приблизиться к концу» [Словарь 1978: 189] (2). И дальнейшее «оживление» картины жизни в звуке: нарастание его интенсивности по громкости и членораздельности, антропологической организации звуков «кикахуть» (3), «гряхуть» (4), «рѣчь говоряхуть» (5). Первый глагол в этом ряду обозначает некое покрякивание человека, звукоподражательное птичьему, второй, уже собственно птичий, — крещендо, образует с ним антонимичную пару по громкости, энергической наступательности (в корнях глухие — звонкие: «к», «к» — «г», «р»). Третий («шуметь, гомонить») ошибочно было бы рассматривать в изоляции от подчиненного компонента «рѣчь» — «словесно организованного устного языкового явления» [Словарь 1978: 40–44]. Данное существительное акцентирует коннотацию смысловой целенаправленности, концентрирует значение сообщаемости, информативности «своей» «беседы» галок. Содержание ее — стремление лететь на покормку останками, утверждение тем подавления и собственного господства над иными формами организации жизни, в том числе и человеческой субстанции.

Важно отметить, что выделенные синтаксически параллельные отрезки (3, 4, 5) скреплены указанными глаголами и в качестве рифмы. Об особом свойстве средневековой рифмы как инструменте тогдашней поэтики Ю. М. Лотман писал: «Подбор ряда слов с одинаковыми флексиями воспринимался как... включение... слова в общую категорию (причастие определенного класса, существительное со значением «делатель» и т.д.), что активизировало рядом с лексическим грамматическое значение. Лексическое значение является носителем семантического разнообразия, суффиксы включают их в определенные единые семантические ряды. Происходит генерализация значения. Слово насыщается дополнительными смыслами, и рифма воспринимается как богатая» [Лотман 1995: 103].

Приведенному теоретическому положению вполне соответствует по своим результатам рифменное взаимоприятие глаголов «кикахуть» — «гряхуть» — «говоряхуть». Комплексно они, бесспорно, выполняют дополнительную иницирующую роль в развертывании содержания фрагмента и обогащении его информационной насыщенностью, о которых говорилось выше.

Образно-смысловая система нарастания негативного начала, его энергетического и рационального импульса

в данной поэтической картине русской ойкумены поддерживается и иными художественными условностями, отмеченными медиевистами.

Так, Т. М. Николаева, безусловно, исходя из общих положений о многозначности в средневековой поэтике, вводит понятие «тернарной семантики», говоря о «Слове». «Одна и та же лексическая единица (иногда — просто слово) в случае 1-м имеет значение X, в случае 2-м имеет значение Y, а в 3-м случае — как бы и X и Y одновременно», — пишет исследовательница и поясняет свою мысль актуальным для нас примером: — То есть, одном случае галки — это просто птицы галки, в другом — это обозначение половцев, а в третьем — остается неясным, то ли это галки, то ли половцы» [Николаева 2005: 41].

И хотя автор книги не дифференцирует все случаи упоминания «галици» и «галичь», но актуальный для нас отрезок текста все же обособляет в показательном отношении «X и Y одновременно». Среди глагольных предикатов «Слова» данное обозначение речи галок она убедительно относит к семантическому «полю половцев». Т. М. Николаева отмечает: «Вообще с половцами... связывается очень много звуков — но не вербальных, а каких-то странных... речь их уподобляется карканью ворон, говору галок, стрекотанью сорок... Скажем об одной особенности тюркско-монгольской просодии: в этих языках интенсивность звучания к концу слова нарастает, а в славянских падает. Этот резкий громкий конец слов воспринимается, как чужой странный звук вроде скрипа или стрекота. Именно такой, видимо, казалась половецкая речь русскому уху» [Николаева 2005: 31, 32].

Действительно, признание половецкой «подсветки» в значении существительного «галки» здесь очень уместно и оправдано. Коннотация «половцы» дополнительно скрепляет интенцию и художественную цельность текста произведения. Таким образом, выделенная нами фигура находится в поле господства основной идейной направленности «Слова», ведь в нем неоднократно и даже навязчиво, публицистически повторяется как модель суждения: в результате междоусобиц половцы побеждают русских и грабят их земли. Приведем несколько примеров: «Усобица Княземъ на поганя погыбе, рекоста бо братъ брату: се мое, а то моеже; и начяша Князи про малое, се великое мльвити, а сами на себѣ крамолу ковати: а поганіи съ всѣхъ странъ прихаждаху съ побѣдами на землю Рускую» [Слово 1985: 6]; «А Князи сами на себе крамолу коваху; а поганіи сами побѣдами наришущу на Рускую землю, емляху дань...» [Слово 1985: 6]; «Вы бо своими крамолами начясте наводити поганя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которое бо бѣше насиліе отъ земли Половецкыи!» [Слово 1985: 9].

На фоне приведенных авторских высказываний с особенной силой проявляется семантический потенциал этой своеобразной дихотомии. Совпадая с ними

в порицании княжеских котор (как причины бедствия, разорения и нашествия поганых половцев), означенный фрагмент содержит очень важную дополнительную информацию. На композиционно-синтаксическом уровне в нем «говорится» и о глобально-катастрофических последствиях котор — уничтожении, гибельной направленности духовно-жизненного, Боговдохновенного начала в Русской земле, и одновременно укреплении враждебной зооморфной силы. Она же, как отмечено выше, генетически родственна половцам. Это: «...погибает жизнь Дажь-Божа внука..., а галици свою рѣчь говоряхуть, хотяь полетѣти на уедіе.» (ср. анализ поэтики аналогичных текстовых образований [Прохоров 2014: 322–329, 394–395; Зарембо 2013]). Поэтому можно сделать вывод о том, что данная фигура является структурным ядром и концентрирует в себе пик идейно-семантического потенциала всего повествовательного поля о «тех» временах, событиях и персонажах. В «Слове» же они выполняют роль предистории и первопричины Игорева бедствия, способствуют выявлению смысла произведения в целом.

Проведенное декодирование поэтики данного текста в частности позволяет не поддержать как чрезмерно суженное понимание фигур лишь в качестве «интонационно-синтаксических конструкций, основанных на нарушении правил нормативной речи с целью придания тексту большей выразительности и эмоциональности, создания эффекта необычности, взволнованности, для украшения речи... В поэтическом произведении... кроме того, выполняют композиционную и ритмообразующую функции» [Иванюк 2008: 275].

Своеобразной проверкой состоятельности предложенного нами толкования могут стать переводы данного фрагмента, выполненные авторитетными медиевистами, мастерами поэтических сочинений. И хотя А. А. Зализняк своей книге «„Слово о полку Игореве“: Взгляд лингвиста» не стремился принимать в расчет такого рода сопоставлений, но все же и не отрицал совершенно их результативности. Он отмечал: «При написании настоящей статьи (так — Л. З.) устрашающего объема труд по проверке обсуждаемых мест по сотням различных переводов СПИ нами не проделывался; мы полагаемся в этом отношении на существующие обзоры (хотя и сознаем, что гарантии полноты это не дает) [Зализняк 2004: 180]. Принципиально то же суммарно констатируется в его статье 2009 года: «...в переводах практически везде дается: „Галки свою речь говорили“; но это неточный, бессознательно модернизирующий перевод» [Зализняк 2009: 11]. Приведенный вариант дается, вероятно, по публикациям Д. С. Лихачева, действительно обильно тиражированным. В объяснительном виде текст представлен так: «Тогда по Русской земле редко пахари покрякивали (на лошадей, распахивая землю), но часто вороны граяли, трупы между собой деля, а галки свою речь говорили, собираясь полететь на добычу» [напр.: Лихачев 1982: 60]. Но указанная позиция

далеко не исчерпывает многообразия сложившейся ситуации. Например, в серии переводов, тяготеющих к первопечатному «...и в Русской земле редко веселие земледельцев раздавалося, но часто каркали вороны, деля между собою трупы; галки же, отлетая на место покормки, перекликались (подчеркнуто нами — Л. З.) [Слово 1985: 15], тщетно искать богатую, четко сложенную изобразительную и звуковую картину оригинала. Отчасти это объясняется затруднением понимания «кикахуть». У В. В. Капниста (1813) читаем: «Тогда по русской земле редко пахари веселились, но часто вороны каркали, трупы между себя разделяя. Галки перекликались, желая летать на покормку». И в примечаниях В. В. Капниста: «Глагол кикахуть кажется тоже самое что хохочут» [Бабкин 1950: 337, 369].

Так же сентиментально-романтически представлено поведение поселянина-пахаря у В. А. Жуковского (1817), но нельзя не отметить психоэмоциональную стройность его стиха, последовательное нарастание маргинального начала: оратаи распевали — граяли вороны — трупы — добыча.

Тогда по Русской земле редко оратаи распевали,
Но часто граяли вороны,
Трупы деля меж собою;
А галки речь свою говорили:
Хотим полететь на добычу! [Слово 1985: 77].

Художественные переводы, по нашему мнению, дают основания утверждать, что конвенгерция древнего автора была воспринята писателем нового времени: и код, и алгоритм декодирования явлены вполне бесспорно.

Очевидно ощущая взаимосвязь лексических единиц ратаевѣ — вороны — галици, кикахуть — граяхуть — рѣчь говоряхуть, а также рациональный алогизм компонентов этих цепочек, Я. О. Пожарский (1819) как бы «упорядочивает» повествование в своем переводе [см.: Зарембо 2008]. «Земледелец» под его пером наделяется «гласом», «галки» — «криком», причем последний они «распространяли», т.е. издавали нарастающе обильно, совокупно-нерасчлененно наполняли им окружающее пространство. Значит, издавали звуки, противоположные речи по своим доминирующим характеристикам: «...рѣдко слышанъ былъ гласъ земледѣльцовъ, но часто вороны каркали дѣля между собою трупы; а галки, желая летѣть на кормъ, распространяли крикъ свой» [Слово 1819: 12–13].

Для нас важно, что рациональная «корректировка» Я. О. Пожарского не есть следствие индифферентности или простой небрежности, она проведена осознанно и последовательно-завершено как реакция перелагателя на импульсы древнего текста.

Не менее отчетливо была воспринята эстетическая организации фрагмента и Г. П. Павским. Но в данном случае авторитетный переводчик многих древностей не только сохранил в своей идентификации означенную

образную взаимосвязь, но даже несколько «педалировал» ее:

Тогда рѣдко по Русской землѣ
гайкалы оратаи,
и часто каркали вороны,
дѣля по себѣ трупы.
И галки свою рѣчь говорили,
думая летѣть на кормѣ [Слово 1880: 490].

Любопытно отметить, что Г. П. Павский избегает глагольной рифмы оригинала, меняя порядок слов. Объединяющую функцию у него выполняет двукратный союз «и», который своей многозначностью вполне «поглощает» «нѣ», «а». В общей же картине при этом смягчается антагонизм компонентов, она становится более суммарно-единой. Хлебопашец предстает существом родственно близким представителям фауны (оратаи гайкалы, вороны каркали). А в целом отмеченную выше поляризацию субъектов и действий, девальвацию антропологического начала «Слова» он дополнительно подчеркивает, употребляя глагол «думать» по отношению к галкам.

Поэтому полагаю, что при более объемном изучении текста «Слова», и даже ближайшем выходе за семантические рамки сочетания «галицы свою рѣчь говоряхуть» проявляется художественная неоправданность и нежелательность перевода глагола — «гомонить». Предпочтительнее употреблять именно «говорить».

Не претендуя на исчерпывающую полноту своих разысканий, скажем лишь, что нам не удалось отметить в работах более поздних русских писателей акцентуации фигуры. Это явление, впрочем, вполне соответствует общей исторической тенденции переводов памятника XIX–XX веков: творческие принципы знатоков древних Библейских текстов остались, к сожалению, почти не востребованы ведущим направлением медиэвистики.

Несколько иной сложилась картина в относительно молодой 90-летней белорусской словиане. Важнейшие черты описанной выше поэтической системы (нарастание / ниспадение антропологических коннотаций субъекта действия, кретивно-интеллектуального начала в самом действии, общая негативная направленность изменения жизненной ситуации, половецкая «подсветка» в лексеме «галицы») здесь неизменно реализовались чрезвычайно выразительно.

В купаловском стихотворном переводе: «Рѣдка пеў аратай за сахою... / А на ежу ляцелі* збіраючысь, / Галкі гоман заводзілі й гулі» [Купала 1997: 217]. У Е. Крупенько читаем: «У тыя сумныя часы, / калі ў паміжусобных войнах / на землях ураджайных вольных / не красавалі каласы,... / а галкі, глядзячы здаля, / вялі гамонкі з пахвальбою, што будуць і яны з ядою» [Крыница 1994: 11]. В тексте И. Чигринова: «Рѣдка аратаі голас свой падавалі..., а галкі сваё гаварылі» [Спадчына 1991: 106]. Р. Бородулин: «Пераклікаліся рѣдка ратаі... /

а галкі сваё гаварылі зычна» [Слова 1985: 137] (Повсюду здесь подчеркнуто нами — Л. З.).

Означенная интенция коннотационного поля проявилась, например, и в том, что в самом раннем среди известных сегодня белорусских, прозаическом перевоплощении Купалы, воссоздана картина подчеркнуто биосферно-активная («рассяваліся й раслі міжусобіцы») [Купала 1997: 193], а в последующем, 1921 года, она обретает характеристику, свойственную социуму («моц было міжусобіц, няладаў») [Купала 1997: 217]. Я. Купала, полагаем, вполне ощутил присутствие антагонистических сил и направленностей в стилистической фигуре оригинала, а потому счел возможным изменить свои поэтические акценты. В новом варианте он подчеркивает активную роль человека и следы, результаты его влияния на природно-жизненные процессы. При сопоставлении текстов выразительно определяются модификации в семантико-стилистических парах: от констатации неосознанных «броуновских» движений-отношений к активно-векторным («калатніны князёвы» — «княжыя звады»); от эмоционально нейтральной номинации страны к определению-указанию на ее нестабильное военно-политическое состояние («на Рускай зямлі» — «на зямлі... Рускай узбуранай»); от обобщенного, суммарного изображения результатов смертоносного процесса («дзелячы труп'ё») к подчеркиванию разрушения цивилизационного воздействия на природу и более — уничтожения собственно субъекта этого преобразования («у полі дзелячы труп» [«аратага» — 'пахаря' — Л. З.]). Поэт, в сущности, воссоздал в 1921 году другое, новое эстетическое видение первоисточника, которое глубже отразило его дух. (Здесь особенно важно отметить, что реализация и характер осуществленных перемен намного опередили уровень слововедения начала XX века.) Приведем для наглядности оба драгоценных фрагмента полностью:

Тады пры Алегу Гарыслаўлічу рассяваліся й раслі міжусобіцы. Гінула жыццё Даждзбожага ўнука; у калатнінах князевых людзі свой век скарачалі.

Тады на Рускай зямлі рѣдка паяў аратай, але вараннѣ пакрумквала часта, дзелячы труп'ё між сабою, а галіцы гоман заводзілі свой, на ежу ляцеці збіраючыся [Купала 1997: 193–194];

Пры Алегу тады Гарыславічу
Моц было міжусобіц, няладаў;
Жыццё гінула ўнука Даждзбожага,
Люд свій век скарачаў ў княжых звадах.

На зямлі тады Рускай узбуранай
Рѣдка пеў аратай за сахою,
Груганнѣ зато часта пакрумквала,
Ў полі дзелячы труп між сабою.

А на ежу ляцелі збіраючысь,
Галкі гоман заводзілі й гулі [Купала 1997: 217].

Идейно-эстетически близкое наблюдаем в семантической наполненности апеллятива «галицы» у М. Горец-

кого, где древнерусскому «на уедіе» соответствует «на пажыву» [Хрэстаматыя 1922: 14; Выпісы 1925: 179.], а в позднейших модификациях наблюдаем коррелят «на здабычу» (Р. Бородулин [Слова 1985: 137], В. Дарашкевич [Вечна 1989: 153], В. Каяла [Старажытная 2004: 163]), который содержит более резкий и активный отрицательно-оценочный аспект. Последнее отчетливо «работает» на сопряжение «галици» → «галки» + «половцы».

Показательно в этом отношении сопоставить также тексты М. Горецкого 1922 и 1925 годов. Первоначально сконструированная картина «Тогда по русьской землі ред’ко ратае кыкахуть, н’ часто врані граяхуть, хотять полететі на уедіе» — «Тады па рускай зямлі рэдка паялі аратаі, а часта каркалі груканы, хацеўшы ляцець на пажыву» [Хрэстаматыя 1922: 14] более привлекала писателя своей лапидарностью, чем вариант 1800 года, пропуск в тексте не был обозначен. Лаконизм анагонистической многозначной параллели «аратаі» — «груканы», «паялі» — «каркалі», «рэдка» — «часта», сеяние — «пажыва», перспектива, надежда — гибель представлялся самодостаточным и исчерпывающим ситуацией.

Затем лакуна 1922 года в средневековом оригинале и соответственно переводе «трупіа себе деляче, а галиціі сваю речь гаворя хуть» — «трупы міжсобку дзелячы, ды галицы сваю размову вялі» [Выпісы 1925: 179] была устранена, описание обогатилось третьим субъектом действия и новыми ремами. Они предельно приближали функцию «галиц» к рационально организованной («сваю размову вялі, рыхтуючыся...») [Выпісы 1925: 179] и тем самым делали наступательно, угрожающе противостоящей единично-разрозненному «пакрыкванню» [Выпісы 1925: 179.]. (Сравним: в 1922 г. — «паялі аратаі» [Хрэстаматыя 1922: 14]). Это единственный случай в белорусском комплексе переводов памятника, когда в отношении галок употреблено выражение, семантически подчеркнуто приближенное к человеку-действию: «... ды галицы сваю размову вялі, рыхтуючыся ляцець на пажыву» [Выпісы 1925: 179]). Благодаря инверсии и указанию цели действия вспомогательный глагол «весці» не ослабляет своего волевого, побуждающего, значения. Этому же способствует и корреляция «р’фч» — «размова».

Типичным для наших литераторов все же станет использование здесь лексем и оборотов, содержание которых на рубеже значений ‘гомон’, ‘шум’, ‘гул’ — ‘беседа’, ‘разговор’. Видимо, наиболее оптимальных и уместных здесь. Я. Купала, 1919 и 1921 г.: «гоман заводзілі» [Купала 1997: 179, 217], Е. Крупенька: «вялі гамонкі» [Крыніца 1994: 11], В. Дарашкевич: «гоман заводзілі свой» [Вечна 1989: 153], В. Каяла: «свой гоман заводзілі» [Старажытная 2004: 163]. Писатели и в стилистическом плане, используя разговорные слова и обороты, реализовали здесь свое понимание заключенной в графеме «галици» некоей обобщенно-персонифи-

цированной антирусской силы. Немаловажным в связи с этим будет напомнить, что широко известные сегодня научные положения по этому поводу (Д. Лихачев, Т. Николаева, А. Зализняк и др.) сформировались в слововедении значительно позже подавляющего большинства данных переводов.

Креативные истоки отчетливой национальной традиции, в известной мере даже школы перевоплощений древнего памятника, полагаем, надлежит видеть в мощном компоненте мифопоэтического восприятия мира, которым сильна белорусская литература. В ней человек как художественный персонаж пребывает не столько на фоне и среди природы, но в самой природе в качестве ее составляющей и взаимосвязанной части. Человек и природа столь близки, что будто бы перетекают одно в другое. При этом надо подчеркнуть, указанное касается, как правило, только родной природы и ее атрибутов.

В прямой связи с данными положениями любопытно отметить в белорусских переводах и следующие показатели. Тот фрагмент древнего текста, где «галици» как антоним «соколы» представлен значением ‘половцы’ был безошибочно «угадан» М. Горецким («стая галак бяжыць») [Хрэстаматыя 1922: 14], «галицы грудам бягуць» [Выпісы 1925: 179] и позднее «закреплен» Р. Бородулиным («чароды галак спуджана ўцякаюць» [Слова 1985: 137] (Подчеркнуто нами — Л. З.).

При этом же в сцене бегства Игоря из плена («Тогда врани не граахуть, галици помлькоша, сороки не трюскоташа, ... дятлове тектомь путь кь р’фчф кажуть; словіи веселыми п’сьми св’ѣтъ пов’ѣдають»), где господствуют пернатые, безоговорочно приняли прочтение галки — ‘птицы’. И более того, развили его в известной мере смыслооправданной «орнитологической новацией». В трех переводах (т. е. 30% от общего числа) «врани» имеют эквивалент «вароны». У Е. Крупенько — «І заціхі сарокі / і вароны маўчаць» [Крыніца 1994: 28], И. Чигринова — «Вароны таксама перасталі каркаць, галкі змоўклі» [Спадчына 1991: 110], В. Каялы — «Тады вароны не граялі, галкі прымоўклі» [Старажытная 2004: 173].

Поводом для этого мог стать перевод первых издателей «вороны не каркали», прочитанный глазами носителя белорусского языка и а-канья, в отличие от русского о-канья. А своеобразными катализаторами — публикации русских переводов, где сам знак ударения «в’ороны» выделял графему, инициировал прецедент отступления от традиционного толкования, что, в свою очередь, было связано с публикацией в особенности во второй половине XX века серии работ по реконструкции звучания текста «Слова». В некоторых из них В. И. Стеллецкий, В. В. Колесов, I. Hapey (США) специально рассматривали данный фрагмент.

Суммарно все это резонировало с устойчивым повышенным интересом к устной сфере национальной культуры: фольклору, разговорной диалектной речи и, тем самым, к профанной стороне жизни, обыденно-сни-

женному восприятию содержания образов. «Ворона» здесь стала своего рода «вульгаризацией» гругана (ворона). Ее карканье, по народным поверьям, — предзнаменование негатива для всякого, кто отправляется в путь. Т. е. ситуация как бы незначай проецировалась литераторами-переводчиками на поступки князя Игоря, который возвращался на Родину после своеговольного военного предприятия, поражения, плена. Отмеченные выше характеристики в переводах «Слова», полагаем, можно расценивать как их национальное своеобразие. И потому приходится лишь сожалеть, что эта важная проблема разработана столь недостаточно.

Предложенное выделение художественных структур в «Слове о полку Игореве» помогает решить целый ряд практических задач из области филологии, касающихся, на пример, исторической семантики глагола «говорити» (от ‘шуметь’ к ‘dicere’), толкования берестяных грамот [Зарембо 2010], адекватности новейших переводов памятника, может служить дополнительным аргументом в пользу письменного его происхождения, существенно повлиять на наши традиционные представления о художественных скрепах памятника.

ЛИТЕРАТУРА

Бабкин Д. С. «Слово о полку Игореве» в переводе В. В. Капниста // Слово о полку Игореве: Сборник исследований и статей. М.; Л., 1950.

Вечна живое «Слова». Минск, 1989.

Выпісы з беларускай літаратуры. М.; Л., 1925.

Гаспаров М. Л. Фигуры стилистические // Литературная энциклопедия терминов и понятий / главн. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 2001.

Зализняк А. А. Взгляд лингвиста. М., 2004.

Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2008 г. // Вопросы языкознания. 2009. № 4.

Зарембо Л. И. О толковании фрагмента из «Слова о полку Игореве» «галици свою рѣчь говоряхуть» (в связи со статьей А. А. Зализняка и В. Л. Янина «Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2008 г.») // *Białorutenistyka Białostocka*. 2010. Т. 2.

Зарембо Л. И. Оним «Каялы» в Ипатьевской летописи.» // *Białorutenistyka Białostocka*. 2013. Т. 5.

Крыніца. 1994. № 10.

Иванюк Б. П. Поэтическая речь: Словарь терминов. М., 2008.

Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. М., 1982.

Лотман Ю. М. Лекции по структурной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1995.

Николаева Т. М. «Слово о полку Игореве». Поэтика и лингвистика текста; «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 2005.

Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое. СПб., 2013.

Сковородников А. П., Копнина Г. А. Стилистическая фигура // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожинной. М., 2006.

Слова пра паход Ігаравы. Мінск, 1985.

Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Л., 1984. Вып. 6.

Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Л., 1978. Вып. 5.

Слово о полку Игореве. Л., 1985. Далее этот фрагмент текста первого издания «Слова» (с. 5–6.) цитирую без ссылок.

Слово о полку Игоревѣ: въ переводѣ Герасима Петровича Павскаго // Русская старина. Т. XXVIII. СПб., 1880.

Слово о полку Игоря Святославича, удѣльнаго князя Новгорода-Сѣверскаго, вновь переложенное Яковомъ Пожарскимъ, съ присовокупленіемъ примѣчаній. СПб., 1819.

Спадчына. 1991. № 6.

Старажытная літаратура ўсходніх славян XI — XIII стагоддзяў. Хрэстаматыя. Гродна, 2004.

Хрэстаматыя беларускае літаратуры: XI век — 1905 год. Вільня, 1922.

Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 1–5.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Зарембо Людмила Ивановна — кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Белорусского государственного университета.

Адрес: 220112, г. Минск, ул. Прушинских, 40, кв. 4

Эл. почта: RusLit@bsu.by

ABOUT THE AUTHOR

Zarembo Ludmila is a Cand. Phil. Sci., the senior lecturer, chair of the Russian literature, Belarusian State University (Minsk).